



# **Сказочные были старое в новом**



**А.В. Амфитеатров**

# Александр Валентинович Амфитеатров

## Морская сказка (Сказочные были (1904))

Рассказы и статьи, собранные в книжке «Сказочные были», все уже были напечатаны в разных периодических изданиях последних пяти лет и воспроизводятся здесь без перемены или с самыми незначительными редакционными изменениями.

Относительно серии статей «Старое в новом», печатавшейся ранее в «С.-Петербургских ведомостях» (за исключением статьи «Вербы на Западе», помещённой в «Новом времени»), я должен предупредить, что очерки эти — компилятивного характера и представляют собою подготовительный материал к книге «Призраки язычества», о которой я упоминал в предисловии к своей «Святочной книжке» на 1902 год. Поэтому прошу видеть в них не более, как эклектическую попытку изложить в лёгкой форме некоторые старинные народные верования и, отчасти, известнейшие мифологические воззрения на них. Дальнейших претензий, в настоящем своём виде, статьи эти не имеют.

Из остального содержания книги, рассказы «Наполеондер» и «Сибирская легенда» были первоначально

напечатаны в «СПб. ведомостях», «Землетрясение» в «Историческом вестнике», «Морская сказка» и «История одного сумасшествия» в «России», «Не всякого жалей» в «Приазовском крае».

# Морская сказка

**И**х было пятеро, и все они, как на подбор, были щёголи-матросы. Хозяйка кабачка то и дело меняла на столе пред ними жестяные кружки с кислым монферрато, и они каждый раз аккуратно расплачивались, доставая из штанов горстями тяжело звучащие медные монеты. Выпили они много, но пьяны не были, сидели тихо и вели философскую беседу.

— Учёные, — сказал жирный Фриц, задумчиво глядя сквозь табачный дым голубыми выпуклыми глазами, — учёные додумались теперь, что род человеческий произошёл от обезьян. Ну, нет! Хоть учёные и умный народ, и мастера убеждать, но в этом они могут уверять кого угодно, — только не нашего брата... Слава Богу, — за двадцать лет, что я хожу в море, — достаточно перевидал я этой хвостатой твари. И скажу вам, братцы: коли учёные не врут, хитра была та первая обезьяна, которой удалось родить человека!

Он захохотал тяжёлым смехом северного немца.

— Теперь это оставлено, — с важным видом сказал бритый краснолицый брюнет ев-

рейского типа, должно быть, корабельный фельдшер. — Теперь в обезьяну уже не верят, а верят в общего родоначальника.

— То есть?

— Как бы тебе лучше объяснить? Ну, вот... у тебя есть братья?

— Был один. Не знаю, жив ли. Лет пятнадцать не видались, Марком звали.

— Он у тебя кто такой? Какое его звание?

— Известное дело, не принц крови. Крестьянин, виноградником питает себя... у нас вся деревня — виноградари.

— А отец у вас, двоих, кто был? Тоже крестьянин?

— Разумеется, да ещё, вечная память ему, — какой исправный.

— Так вот видишь ли: отец у вас крестьянин, а из сыновей один, по-отцовски, мужиком остался, а другой — ты, Фриц, значит, — лучшего захотел, пошёл в матросы; стало быть, переменил участь, загнул на другую линию.

— Ну?

— Ну, и с происхождением человека — тот же самый порядок. Был да жил такой общий

родоначальник, — зверь не зверь, человек не человек, — от которого пошли две ветви потомков. Одна всё развивалась, умнела, улучшалась и выровнялась в человека, как быть следует. А другая всё дичала, дурела, унижалась и выродилась в обезьяну. Понял?

— Как не понять? — протяжно возразил Фриц. — Как не понять, когда хорошо растолкуют? Выходить, следовательно, что один-то сын был парень себе на уме и в люди выскочил, а другого — дурака — отец, за непочтение, в обезьяны отдал... Ловко соврано.

Он снова захохотал, точно бочку покатыл с горы, и, отсмеявшись в одиночку, продолжал:

— Нет, нет... что до меня касается, я не перестану верить в старика Адама и бабушку Еву... И знаете, братцы, почему? Потому что я сам их видел, — вот этими моими собственными двумя глазами!

Смуглый генуэзец Альфио, при этих словах, бросил подозрительный взгляд на стоявшую пред Фрицем кружку и, оттянув указательным пальцем левой руки веко на левом глазу, остальными пальцами весьма скептически заиграл пред лицом своим: дескать —

вот началось — не любо не слушай, врать не мешай!.. Но немец настаивал уверенно и спокойно:

— Да, я был знаком с Адамом и с Евою. Ева-то, положим, когда я имел честь быть ей представленным, уже никого не узнавала от старости и, как недвижимое имущество какое-нибудь, лежала денно и нощно под шалашом на циновке. Но Адам, хоть и седой, как лунь, держался ещё молодцом, и мы с ним славно выпили перед отходом нашего брига с острова...

— Ага! — проворчал Альфио, опуская руку, — история какого-нибудь Робинзона!

— Вот видишь: догадался! — хладнокровно возразил Фриц, — стало быть, нечего было и рожу строить!..

— Ну, таких-то Адамов не в диво видеть всякому моряку, которому океан не впервинку, — заметил третий матрос — по бледно-жёлтым волосам, датчанин, швед или чухонец. — Без них не стоит ни один остров в южных морях. История обычная: облюбует себе какой-нибудь тюленебой островок в океане, как постоянную станцию, и начинает

сперва ходить туда из года в год на промысел, потом станет на островке заживаться, потом зазимовать попробует, потом — глядь, и уезжать уж никуда не хочет. Посёлок строит, семьёю с материка везёт, коли женатый, либо с туземкой свяжется... Ведь это — вроде болезни, как прилипают люди к таким островкам. Кто в Робинзоны попал один раз, того потом всю жизнь тянет назад, в пустыню.

— Мой Адам, — перебил Фриц, — не из тюленебоев. Он был француз, человек образованный, хорошей фамилии, — хотя настоящего имени своего он нам не пожелал сказать: очень стыдился, что одичал... На острове звали его «муссю Фернанд».

— Как же его угораздило попасть на остров?

— Да обыкновенно — как попадают все Робинзоны: через кораблекрушение. А уж через какое именно, когда и как, — этого я вам объяснить не могу, потому что — начнёт, бывало, старик рассказывать и всё перепутает... совсем лишился памяти. Верно одно: отбыл он — с сестрою своею — молодою девушкою — из Лиссабона... годов этак, примерно

сказать, тому назад пятьдесят, потому что не только о войне франко-прусской, но и Наполеоне III никто на острове не имел ни малейшего понятия.

Думали, что во Франции королевство, Орлеаны правят. Ехали они, совсем, должно быть, профершилясь, в Бомбей, где муссю Фернанд должен был получить хорошее место при какой-то английской фирме, а сестра его, мамзель Люси, собиралась открыть пансион для девочек. Чуть обогнули Капский мыс, — тогда о Суэцком канале и помину не было, — стало их трепать. Больше ничего не помнит и не может рассказать толком. — Дед! — говорю, — да неужели ты, пока из ума ещё не выжил, не догадался записать своей истории?.. Молчит, трясёт головою, ничего не понимает... Ну, да внучонок его выдал: за фунт карамели и перочинный ножик — хотите, говорит, украду вам дедушкины листки, на которых он свою жизнь написал?.. Валяй!.. И украл. До сих пор берегу их. Только — чёрт бы драл! — без начала и конца... Ohé! radrona! — прервал он речь свою, стуча кружкой, — ещё жестяночку вашей кислятины, да время и —

к девицам...

Когда матросы собрались уходить, я задержал жирного Фрица и просил его познакомить меня с доставшеюся ему рукописью Робинзона.

— А зачем вам? — возразил он, — может быть, ищете какого-нибудь пропавшего родственника?

— О, нет! Просто — я писатель, и меня очень заинтересовал ваш рассказ.

— Ага! писатель! В таком случае — очень рад вам услужить. Хоть вовсе её возьмите у меня себе на память...

Я заикнулся было, что готов заплатить, но немец добродушно перебил меня:

— Ну, вот ещё! какие тут могут быть счёты? На что мне нужны эти бумажонки? Разопьём вместе бутылочку винца, — и квиты.

На завтра мы бутылочку эту распили, и в руки мои перешла пачка жёлтых, истрёпанных, замусленных, местами закопчённых, точно опалённых, местами размытых водою листков, исписанных мелким бисерным почерком старого французского пошиба... Вот что писал на них старый Робинзон.

...на палубу. И небо, и море имели всё тот же плачевный вид взлохмаченной ваты, раздувающейся, под бешеными порывами шквала, вверху белыми клочьями, внизу — грязно-свинцовыми. Капитан молча указал мне только что возвещённый берег. Придавленный густою шапкою туч, он чернел над водою невысокою извилистою полоскою, — словно ядовитая пиявка вилась на горизонте.

— Остров?

— Остров.

— Какой же?

— А чёрт его знает! — был утешительный ответ. — Дайте мне хоть на минутку солнце, и я вам скажу, куда нас принесла нелёгкая... А пока я знаю столько же, сколько и вы. У нас сломан руль, не работает машина, а если мы поставим паруса, то нас перевернёт вверх дном. «Измаил» уже не пароход, но поплавок, и — куда бы его ни затащило, лишь бы к твёрдой земле, — мы должны сказать спасибо!..

Идти «Измаил» полным ходом не мог, но его несло полным ходом к острову, и вскоре — хотя и в глубоком тумане — мы могли

уже разглядеть часть береговых очертаний: бледный конический силуэт вулкана, и, у его подножия, между двумя чёрными, скалистыми мысами, вокруг которых яростно кипели буруны, вход в широко разинутую бухту.

Экипаж «Измаила», толпясь вокруг капитана, спорил и держал пари, где мы. Большинство склонялось к мнению, что буря загнала нас обратно — к Азорским островам и Зелёному Мысу. Другие клялись, что мы — если не у св. Елены, то у о. Вознесения, либо Тристан-да-Кунья. Третьи стояли на том, что буря, хоть и жестоко закрутила нас, но — в конце концов — ветер взял попутное направление, и теперь «Измаил» приближается к какому-либо крохотному, безымянному островку-вулкану Индийского океана. Капитан, на все предположения, только пожимал плечами и повторял:

— Всё может быть. Я знаю лишь одно: это — не Тенерифе. А затем — все вулканические острова похожи друг на друга, как две капли воды... и, если не уверен в широте и долготе, так разве чёрт их различить с моря.

Стали стрелять из пушки, — с острова ни

ответа, ни привета, ни лоцманской лодки. Несмотря на ветер и дикую качку, все пассажиры, кого ещё не вовсе уложила пластом морская болезнь, повывлезли на ют, приветствуя всё яснее определявшуюся чернь острова.

Мы с сестрою Люси стояли рядом, ухватясь за какую-то снасть; рядом с нами — ближе к борту — торчал, в своём песочном пальто, словно бесконечная макарона, мистер Смит; расставив свои длинные ноги циркулем, он преловко балансировал вместе с «Измаилом» и ещё ухитрялся смотреть в подзорную трубу на береговые туманы, откуда — сквозь свист ветра и плеск волны — уже долетал к нам рёв буруна...

И вдруг — палуба под ногами нашими задрожала, выгнулась, как пружина, мы с сестрою расцепились и покатались в разные стороны, а мистер Смит взвился, как ракета, и полетел за борт. Затем «Измаил» перестал плыть и начал медленно вращаться на одном месте, причём страшно хрустел, кряхтел и стонал, — точно все внутренности его сокрушались. Приподнявшись, я увидел, что сестра

сидит на палубе и, бессмысленно глядя на пушку, утирает окровавленный нос, — а затем откуда-то вынырнуло предо мною лицо капитана — белое, как мел, с вытаращенными глазами и рыжими усами, в которых каждый волосок встопорщился щетиною. Тому прошло уже сорок лет, но лицо это живо в моей памяти — будто я только вчера его видел; и стоит мне слишком плотно поужинать, чтобы капитан — тут как тут — снился мне всю ночь, и воскресала, вместе с ним, в памяти вся последующая суматоха.

Рассказать её немислимо: она захватила всех нас, как вихрь, и сразу закружила до одурения. Все метались, кричали и никто никого не слушал и ничего не понимал. Капитан бежал в толпе с высоко поднятыми руками, тыкал снизу вверх указательным пальцем в ладонь и орал, перекрикивая ветер:

— Словно иглою!.. как флюгер на шпиле... через два часа — одни щепки!..

Затем я вспоминаю себя уже в шлюпке, куда меня швырнули сверху, точно куль с мукою, как попало. Под ногами у меня лежала в глубоком обмороке сестра Люси, а на коленях

очутилась зыбка с близнецами Мэркли. Шлюпка плясала по морю, шатаясь будто пьяная, — а в десятке саженей волны бешено таранили вспененными гребнями неподвижный, брошенный «Измаил». Он сидел на проткнувшем его рифе, скривясь на правый бок — будто смертельно раненый слон или кит на мели. Волны, налетая зубатыми акулами, рвали с него обшивку, и он бессильно содрогался от боли и страшно скрипел, досылая к нам свой предсмертный стон сквозь кружившую нас бурю. Доски падали, будто мясо с костей, — и местами зияли уже проломы в тёмные внутренности, обнажёнными костями торчали балки и стропила...

— Надо же подобрать его! Ведь человек был!

— А куда мы его возьмём? Здесь и живым тесно...

То были первые слова, ясно услышанные и понятые мною после катастрофы.

Речь шла о Смите. Бедняга носился по водам безобразною бурою колодою, став как будто ещё длиннее и у?же, чем был живой. Голову ему расплющило в лепёшку, — и, ко-

гда мертвец обращал кнам, кивая по волнам, тёмно-красный кровавый кружок этот, — невозможно было удержаться от дрожи ужаса и отвращения. Никогда не видал я более противного покойника... Я не выдержал и закрыл глаза; меня стошнило.

Течение несло нас прямёхонько к острову, но ветер рвал во все стороны. Мы шли на вёслах, — они трещали и гнулись в руках гребцов; с матросов пот катился градом, и они то и дело менялись на весле.

Берег был много-много в полуверсте, но — что толку? Близок локоть, да не укусишь. Все эти двести сажень кипели молочной пеною бурунов; валы ходили ходуном, и — по морю точно гудела канонада: с такою силою, так неутомно часто — бух! бух! бух! — бросало оно волны на каменные гряды, отделявшие нас и под водою, и еле торча над водою, от обрыва береговой линии — пустынной; грозной и унылой, как кладбище. Этот таинственный, безмолвный остров с чёрным конусом курящегося вулкана, под белым тучевым небом, низко-низко над ним повисшим, в оторочке серебряных кружев разыгравшегося моря, —

походил на погребальный катафалк, готовый всех нас великолепно принять и переселить в страну, где нет ни печали, ни воздыхания.

Бухта не давалась нам, как заколдованная. Мы сделали не менее ста попыток прорваться сквозь буруны. Они швыряли нашу шлюпку, как котёнка, — и она жалобно стонала и пищала, как котёнок. Суда — что люди. Когда им не везёт, они теряются, становятся неловки и бестолковы. Вскоре — шлюпка одурела: она болталась на гребнях волн глупо и беспомощно балаболкою, то взлетая на темя водяной горы, то ухая в тёмную пропасть. Все чувствовали, что не капитан ведёт шлюпку, но шлюпка ведёт капитана. Исполняя свой долг и обманывая отчаяние своё и наше, он боролся с бурунами, как герой, но — герой слепой. Без карты, без инструментов, что мог он разобрат в мутной кипени этой незнакомой бездны? Он лавировал наудачу, стараясь не позволить шлюпке раздробиться о подводные скалы; их гребешки то и дело скрежетали под нами, и матрос, сидевший супротив меня на весле, — седой, морщинистый человек, с запухшим от огромного синяка левым глазом —

всякий раз, что раздавался зловещий скрежет, кивал головою, словно одобряя грозящую нам гибель, и глубокомысленно повторял по-итальянски:

— А, сегодня у моря есть зубы! есть зубы!

В воздухе не было холодно, и вода, бурлившая вокруг нас, была, на ощупь рукою, довольно высокой температуры. Но, пробыв несколько часов в облаках солёных брызг, мы тряслись от холода, как Иуда на осине. Нас прохватило до костей сыростью, которую море на нас поливало, а ветер в нас вдувал, будто из ста глоток, слева, справа, спереди, сзади, и с такою силою, с таким дьявольским напором, что водяная пыль колючими иглками входила в поры и леденила кровь в жилах. Соль покрыла нас корою, разъедавая глаза и ноздри, — соль во рту, соль в ушах, солью пропитана одежда. Безумная пляска по волнам вымотала из нас все внутренности. Я чувствовал, что во мне всё переболталось, как в бутылке, что кишки мои переместились в мозги, а желудок свернулся жгутом и вот-вот сейчас полезет наружу через горло. Мистрисс Мэркли — обезумевшая, почти бесчувствен-

ная от морской болезни — уткнулась лицом в мой затылок, и я сам был настолько болен, что не имел ни сил, ни даже догадки отстранить от себя это отвращение. В дополнение несчастья, Смита носило вместе с нами, — труп раза два стукнуло о шлюпку, и женщины визжали не своими голосами, уже не зная, чего бояться больше — бушующей волны или безобразного мертвеца. Моряки суеверны. Матросы вообразили, что это Смит приносит им дурной ветер и не пускает нас к берегу. Они проклинали горемычный труп, грозили телу кулаками, пихали его вёслами и багром, но, покорный волне и ветру, покойник — куда мы, туда и он. А старик-итальянец насупротив меня знай качает головою да твердит нараспев:

— О! о! Англичанин. не хочет идти один в водяную могилу... Вот увидите: он всех нас потянет за собою... всех! всех!

— Замолчишь ли ты, чёрт? — крикнул капитан. — Джой! дай ему по морде!

Кто-то протянул руку между моею и мистрисс Мэркли головами и, торчком, сунул смоляный, мускулистый кулак в зубы матро-

са. Итальянец странно посмотрел на кулак, словно впервые видел такую штуку или только что очнулся от долгого сна. На тычок он ничего не сказал, плюнул в море кровью и, утихнув, налёг на весло, но всё продолжал бормотать про себя и улыбаться.

Наконец, Смита занесло в подводную колдобину, где он застрял и не выплыл более, освободив нас тем хоть от одного ужаса. Матросы выбились из сил, а у капитана опустились руки. По волнам прыгали длинные, тёмные тела, которые мы, пассажиры, — у страха глаза велики! — приняли было кто за акулу, кто за крокодилов, но то были — просто балки и брёвна размётанного «Измаила». Они мчались на буруны, как боевые тараны, и нам пришлось увёртываться, чтобы не очутиться на их разрушительном пути. Пали сумерки, а мы — хоть бы на шаг подвинулись вперёд. Вулкан затянуло мглой, берег слился с облаками, море закурилось низовым туманом... Ветер как будто стал, если не тише, то определённее и постояннее и тянул шлюпку в открытое море. Быстро наступавшая темнота приводила нас в отчаяние. Мистрисс Мэрк-

ли и сестра Люси кричали, что уж лучше им сразу потонуть и умереть, чем медленно погибать от ужаса и морской болезни, болтаясь в этой скверной посудине; матросы галдели; старый итальянец, уже никем не препятствуемый, громко и злорадно вопил:

— Говорю вам: всех нас потянет на дно каналья-англичанин... всех, всех!

— Товарищи, — сказал капитан, — остаться среди тумана и тёмной ночи в этой каменной ловушке невыносимо. Нас расшибёт, как ореховую скорлупу, первую же волною, которую мы прозев...

Бедняга, вероятно, хотел сказать «прозеваем», но договорить это слово, как всю остальную речь, ему пришлось уже в вечности. Шлюпка вдруг затрещала ужасным образом, близнецы исчезли с моих колен, точно провалились в театральный люк, дно шлюпки и скамья ушли из-под меня, и я очутился глубоко в воде и, как топор, пошёл ко дну. Плавать я тогда не умел, да, если бы и умел, не успел бы спохватиться: так быстро закогтила меня и потянула вниз чёрная бездна.

Говорят, что утонуть — смерть блаженная;

что в последний миг сознания утопающий вдруг — в капельке воды — видит мелькающую, как в калейдоскопе, всю свою протёкшую жизнь; другие, захлёбываясь, бредят зелёными лугами, хрустальными дворцами, золотыми рыбками, дамами в зелёных платьях — прекрасными русалочными видениями. Это, должно быть, когда тонешь в пресной воде или умеешь плавать. Я, впадал в смертный обморок, чувствовал лишь, что вокруг меня — ночь, глухая, холодная, чёрная, без малейшего звука, без искры света; ночь — бездна, куда я падаю, падаю, и — казалось — конца не будет падению.

Потом ночь прошла, и я перестал падать; непроглядный мрак сменился густым туманом, сквозь который, подобно водорослям или артериям тела, ветвились светящиеся полосы — то мутно-зелёного, то кровавого цвета... И, вместе с тем, сям я, всем телом своим, стал тянуться и надуваться в огромный безобразный нарыв, налитой дурными соками, которые душили меня, — я задыхался... метался... надо было или назреть и лопнуть, или умереть... и я сделал страшное усилие, чтобы

прорваться... и очнулся.

С меня и из меня лила струями морская вода. В лицо, обжигая кожу, били пламенные солнечные лучи. Благоухание земли наполнило и расширило неизъяснимым наслаждением мои ноздри, треск птиц ошеломил мой слух, ещё неясно зрячими глазами я видел, как сквозь мелкую мушчатую сетку, человеческие тени, мелькавшие надо мною... Меня трясли, качали, растирали, — я понял, что меня возвращают к жизни, и, в страстно мучительной жажде бытия, напруг всю свою волю, чтобы ожить, — и ожил.

Три лица склонились надо мною — одно белое, два чёрных. В белом я узнал сестру мою Люси; чёрные принадлежали негритянке Целии, кормилице близнецов Мэркли, и Томасу, нашему пароходному коку.

— Где мы? — спросил я.

— На острове и в безопасности.

— А экипаж «Измаила»?

Мне не отвечали.

Единственно нас четверых море возвратило суше живыми.

\* \* \*

Я не намереваюсь передавать содержания полуистёртых строк муссю Фернанда, слово за словом. Для тех, кто знаком с историей хоть какого-нибудь Робинзона, в них не нашлось бы ничего нового. Убедившись, что они — единственные люди па острове, жертвы кораблекрушения сперва пришли было в отчаяние, думали, что всё в жизни для них уже кончено и — быть может — даже лучше сразу умереть, покончив с собою самоубийством, чем вековать в заключении на клочке земли, затерянном без вести... в каком океане? — они даже и этого не знали. Они были вдруг вышиблены из всех условий человеческого общества и знания, очутились как бы вне времени и пространства. Обыкновенно, Робинзоны, о которых пишут в книжках с приключениями, бывают замечательно умны, образованны, находчивы — точно их предварительно всю жизнь подготавливали к случайностям, возможным на необитаемом острове, предречённом им судьбою. Но здесь не было ничего подобного. Муссю Фернанд, — барон Фернанд де Куси, как называет он сам себя в записках своих, предупреждая, однако,

что имя это — выдуманное, и что настоящая фамилия его ещё громче, — обнищавший французский барич, вынужденный наняться в приказчики к английскому купцу, — попал в условия Робинзона светским человеком, то есть — полным невеждою во всех житейских отношениях. Он знал множество, чего вовсе не надо было знать на острове: пять европейских языков, геральдику, танцы, фехтование, а перед отъездом с родины к своему бомбейскому хозяину, прилежно и старательно изучил итальянскую бухгалтерию. Но бедный мальчик не умел ни построить себе шалаша из древесных ветвей и пальмовых листьев, ни поставить сети на птицу и невода на рыбу, ни сварить мяса, ни добыть соли в приправу к пище. Не будь с ними негра и негритянки, к счастью, оказавшихся отличными людьми, Фернанд и Люси погибли бы от голода и бесприютного житья, — их спасло исключительно благодушие и трудолюбие чёрных, покоровшихся белым по своей доброй воле, то есть, по сызмала привычной дисциплине и внушению видеть в европейце господина. Молодая жажда жизни, — самому старшему

из четырёх невольных изгнанников, негру Томасу, было 28 лет! — богатая, щедрая природа и дивные климатические условия острова мало-помалу победили отчаяние — и четверо людей кое-как устроили свой быт, — жилища и питание... Как подбирали они выбро-сы моря после кораблекрушения, как хорони-ли трупы утонувших матросов и пассажиров, как воспользовались одеждою этих покойни-ков, как негру удалось выловить на месте, где погиб «Измаил», кое-какие припасы и ору-жие, как сперва приспособили для житья об-ширную вулканическую пещеру, потом вы-строили себе шалаши, — рассказывать не сто-ит: повторяю, всё это сотни раз описано во всех историях Робинзонов, притом же гораздо подробнее и эффектнее, чем сумел описать муссю Фернанд. Денно и ночью жгли они ко-стры на высотах острова — в надежде, что дым и пламя привлекут с моря внимание ка-кого-либо корабля, проходящего чрез пусты-ню этих таинственных вод. Надежда эта, еди-нодушная в начале пребывания на острове, таяла с каждым днём: кораблекрушение при-ключилось осенью, наступила зима... и ни

один парус, ни один столб дыма из паровой трубы не оживили безнадежно-мертвого, безбрежно-широкого, на все четыре стороны, горизонта. Люди стали привыкать к мысли, что связаны с островом навсегда. Чёрные покорились своей участи более или менее спокойно, с свойственным расе их фатализмом — белые пережили много нравственных мучений, — бессильного гнева, тоски и отчаяния... Дальше — пусть опять говорит сам муссю Фернанд.

\* \* \*

Так прозимовали мы — в вечной, томительной и жадной тревоге напрасных ожиданий. Пришла весна. Она прелестна на нашем острове. Воздух тогда — пьяный от благоуханий. Пышные тюльпаны, золотистый анемон, белый нарцисс, дикий жасмин и разноцветные ползучие розы затягивают сплошным ковром каждую береговую полянку, каждую прогалинку в лесу. И — днём — над ними дрожит, мечется и гудит пёстрое полчище бабочек, жуков, мух, шмелей, ос, диких пчёл; а — чуть падут сумерки — крутится пламенный вихрь светящихся мух, между тем как в траве

и на листве окружающих деревьев висят, сияя зелёным огнём, огромные бескрылые светлячки — будто неподвижные лампы на фантастическом балу живых искр. Насекомые острова бесконечно разнообразны. Мы ловили в пригоршню, по десятку и больше за один взмах, маленьких мотыльков, — голубых, как глаза сестры Люси, — малюток, которые, распустив свои яркие крылышки, не покрывали собою ногтя на мизинце. Мы ловили гигантских чёрных бабочек, величиною с летучих мышей; когда они летели, то шум их крыльев был слышен даже сквозь морской прибой, и ветер от их движения заставлял склоняться головками цветы, над которыми они кружили. В глазах рябит смотреть на луга под этою воздушною толкучкою, когда её припекает солнцем: кажется, будто все цветы острова сошли с ума и, сорвавшись с стеблей, играют в чехарду, танцуют, кувыркаются, дерутся, кричат и поют, — потому что и гудят эти полянки тоже — будто где трезвонят далёкие, праздничные колокола.

В наших рощах — в тени магнолий, пре-  
вращаемых цветением в белые ароматные

стога, одно уже приближение к которым теснит дыхание, кружит голову и отнимает разум; в тени акаций и каштанов, качающихся в воздухе шапки белых, жёлтых, лиловых цветов; в тени чешуйчатых пальм, переплетённых гибкими лианами, с пёстрыми пастями орхидей; — в этих таинственных рощах распускаются странные, бархатные цветы: тёмно-красные чашечки, отороченные чёрною каймою, с золотою, как огонь, сердцевиною. Аромат их нежен и пронизателен, и, кто доверится его коварному обаянию, того одуряют любовные мечты и сладострастные грёзы.

Нет перелётной птицы, которая бы не делала стоянки на нашем острове. Чёрные скалы белеют, одеваясь стадами чаек, гагар, гусей, лебедей и водяных курочек; розовые, зобатые пеликаны важно качаются в тихих бухтах; краснопёрый фламинго, аист в чёрном фраке, долгоногие журавли армиями бродят по пескам побережья, толкаясь точно встречные люди в толпе. От гомона, писка, скрипа, визга и рёва чудовищных птичьих стай мы, бывало, — у берега — не могли разговаривать между собою и, стоя рядом, должны были

кричать во всё горло, чтобы понимать друг друга. Часто — будто быстрое облако, стремительно пролетая, накрывало остров скользящим пятном, и, поднимая глаза, мы с изумлением узнавали в нежданной туче необозримое скопище куликов или куропаток: они летели, как саранча, и, как за саранчою, следом за ними мчались хищные орлы и быстрые соколы, — и капала горячая кровь, и падали вниз, колеблясь по ветру, пёстрые перья, — но живая туча мчалась вперёд и вперёд, ни на мгновение ока не задерживая своего неутомимого стремления. Птицы и насекомые летели, любили и убивали. Колибри кувыркался в воздухе, ловя мошек, чтобы накормить свою, сверкающую изумрудными и рубиновыми огнями, подругу — сидящую на яйцах в развилке двух веточек смоковницы. Мохнатый, точно гусёнок, шмель, в детский кулак величиною, пронзал колибри острым, как шпага, жалом и тут же погибал, схваченный налету хищным сорокопутом... Рыба тучилась в море, стоя сплошными и глубокими стенами; стада эти можно было углубить, но не спугнуть и не раздвинуть: так тесно жа-

лись между собою их ряды; скользя над ними в челноке, Томас — ради забавы — втыкал в них длинную тростинку или жердь, — и она долго торчала и колебалась стойком над морскою гладью, прежде чем провалиться сквозь эту подводную почву живых тел. Мы ловили рыбу сетями, били острогами, глушили дубинами, выстрелами из ружей над поверхностью воды, брали руками, — солили, вялили, нарубали в горе каменных погребов и навалили их рыбными запасами, достаточными для годового прокорма не четырёх человек, но целого полка голодных кроатов. Ели рыбу мы в таком количестве, что после двух-трёх недель весны мы уже не в состоянии были взять в рот деликатнейших сортов её, не могли без отвращения подумать о кефали, скумбрии, золотых краснушках. Да мы ли одни! Я видел чаек, объевшихся до того, что крылья не хотели поднимать их, и птица беспомощно сидела на скале в тягостной дремоте медлительного пищеварения. Я видел, как выдра, распластавшись на береговом камне, лежала, уткнув в прозрачную воду усатую морду, и жирные сельди плыли мимо её носа, и выдра

смотрела на них сонными глазами обжоры, закормленного до пресыщения, и, казалось, думала: нет, уж — хоть сами полезайте в пасть, но, чтобы я схватила ещё вас, — к этому не соблазнят меня никакие водяные блаженства!

Это жгучее солнце, эти жаркие, певучие дни, эти душные, благоуханные ночи — то золотые, с луною, бродячею полным кругом в бездонных небесах, и длинным, дрожащим столбом искр в бездонном море, то тёмные, хоть глаз коли, с огромными изумрудными звёздами и сверкающею кисеёю Млечного Пути в аспидной вышине; эта бездельная, беспечная, сытая жизнь, какой, кроме нас, не знал, быть может, никто из смертных с тех пор, как огненный меч архангела изгнала Адама и Еву из земного рая; — всё это скопление блаженства жизнью привело нас именно к той же беде, в наказание которой и засверкал некогда палящий меч над головами наших прародителей. Весь остров — каждую травкою в поле, каждую пташкою в лесу, каждую рыбкою в ручье и в море — трепетал счастьем любви, восторгом юного парования, на-

рождения новых жизней. Людям ли было уйти от сладкой любовной заразы, которою весна отравила и воздух, и воду, и землю? Чистота нашей маленькой общины — до сих пор братской, будто бесполой — нарушилась. Грех страстных желаний прокрался в наши сердца и властным пламенем потёк по жилам. Велико библейское слово, что люди заметили наготу свою, лишь когда постигло их грехопадение. Люси и Целия продолжали ходить в тех же матросских куртках и шароварах, что и зимою, и тогда мы не находили наряд их ни нескромным, ни соблазнительным — в труде и заботах, не давая себе ни льгот, ни поблажки, мы просто не замечали его. Теперь мужской наряд наших женщин смущал нас при каждом взгляде — своею неестественностью он не скрывал, но, наоборот, только резче подчёркивал их пол. И женщины, как бы впервые сознав неловкость мужского костюма, конфузились в нём при нас, старались прикрасить свои одеяния, сделать их более приличными и изящными. Женщины умеют наряжаться и в пустыне. Они опутывали себя венками и гирляндами. Целия плела из дико-

го винограда, хмеля, плюща и лиан какие-то зелёные юбки и потом бегала в них, вся утыкавшись душистыми магнолиями, по лесам и горам, крича и распевая во всё горло, точно чёрная вакханка. Африканку мучило то же безумие, что и нас, — и, когда мы сходились все четверо к обеду и ужину, пятым между нами незримо присутствовал не Бог, но дьявол, насмешливо ожидающий своего торжества. Я слышал его в том принуждённом молчании, которое заменило обычные наши беседы, — словно теперь мы боялись, что, если станем разговаривать, то скажем друг другу лишнее, в чём потом придётся раскаиваться. Слышал его в беспорядочной весёлости, какою. временами, перемежалась эта напускная сдержанность, когда, — наевшись, мы острили, плясали, пели, скакали через горячие ручьи и ямы, полные серного дыма, с визгом, с хохотом, подражая крикам птиц и зверей, которые нас окружали. Я видел его — и в сверкающих исподтишка кровавым огоньком глазах Томаса, когда они останавливались на стройном стане Люси или на плечах полуобнажённой негритянки; и в томной

неге, которою поминутно заволакивало круглые, звериные глаза Целии; и в изменчивых душевных настроениях сестры, то безнадежно-грустной, страстно тоскующей по далёкой родине, раздражительно требовательной и повелительной по отношению ко всем нам, то весёлой, резвой, кроткой и проказливой, будто молочный котёнок, только что продравший слепые глаза. Но — больше и мучительнее всего — чувствовал я дьявола в себе самом. Он окружал меня со всех сторон видениями — в тёмные ночи, когда я бессонно ворочался на своей постели из сухих пальмовых листьев, — и шумел лес, и гудело море, и рокотали горные ручьи, и, споря с ними, тысячами глоток перекликались соловьи и птица-пересмешник, а подле — в двух шагах от меня — шумно вздыхал, точно раздувая внутри груди своей кузнечные мехи, богатырь Томас, охваченный тою же мечтательною бессонницею. Вереницею страстных грёз пролетали предо мною прекрасные женщины, которых я любил и знал в далёкой Европе, и я готов был плакать от мысли, что не видать мне уже никогда ни одной из них, не прижи-

мать к своей груди, не сливать губ своих с их горячими устами. То — вдруг, в рой этих светлых, недостижимо-далёких призраков врывался грубый, но близкий образ Целии, с её чувственным взглядом и чёрным, бархатистым телом. Стыдясь страстной грёзы о невежественной рабыне, о цветной женщине из породы, которую я сызмала привык считать чем-то, вроде переходной ступени человека к животному, я старался гнать бред свой прочь, как величайшее унижение для себя — представителя высшей расы, образованного общества и благородной фамилии — издевался над собою, бранил Целию скверною негритянкою, чёрным уродом. Но едва закрывал глаза, как она снова уже плясала предо мною, обдавая меня своим горячим дыханием и ароматом увитого цветами тела... И поутру я вставал с шальнойю головою и разбитым телом и, пока не освежало меня морское купанье, чувствовал себя несчастнейшим на свете человеком. А каналья Томас и смешил, и бесил меня своими неизменными — из утра в утро — жалобными причитаниями:

— О, муссю Фернанд! о! как хорошо быть

женатым в наши с вами годы! как хорошо быть женатым!

Этот чудаковатый малый в последнее время заметно и как бы умышленно отбился от нашего общества, проводя время одиноко — то на челноке в море, то на охоте или рубке дров в лесу. Он завалил наши кладовые рыбою, дичью и плодами, которые он находил в лесистой глубине острова. В лесу — по большей части — он пил и ел, возвращаясь в шалаш только ночевать. Даже на вечернюю молитву, единение на которой строго соблюдалось у нас зимою, перестал ходить, — и, когда я сделал ему замечание, Томас, в извинение своё, откровенно привёл причину, полную дикой наивности:

— Видите ли, муссю Фернанд: когда молишься, то надо становиться на колени. А, когда я становлюсь на колени, то — прямо против своего носа — я вижу затылок мамзель Люси, и он в таких хорошеньких золотых завитках, что, вместо «Отче наш» и «Богородицы», мне лезет в голову, чёрт знает что...

Должен признаться: почин грехопадения в нашей общине свершился не чрез чёрных по-

лудикарей, — виноватым оказался я, белый, образованный человек. Люси уснула Целию в лес пошарить по птичьим гнёздам яиц на ужин, и я, возвращаясь с охоты, встретил негритянку вдали от наших шалашей, в роще цветущих каштанов. Она окликнула меня с высоты. Подняв глаза, я увидел Целию прямо надо мною, — повисшую, точно акробатка, на толстой лиане, цепко перекинутой между двумя мощными ветвями орешника. Я крикнул, чтобы она прекратила свою опасную шалость, но глупая женщина, с визгом раскачавшись на руках, вскочила на лиану обеими ногами и стала прыгать на упругой лозе, с хохотом выкрикивая негритянскую песню. Полунагая, позолоченная солнечным лучом, пробившимся сквозь темень дремучей листвы, с своими дикими движениями, пламенным взором и сверкающими зубами, она казалась какой-то чёрною нимфою — демоном этой тропической чащи. Дождь благоуханных лепестков сыпался из-под ног её, а вокруг головы — увенчанной белою шапкою цветка магнолии — с криками металась, встопорщив хохлы, белые какаду и зелёные попугаи.

— Довольно, сумасшедшая! Ты сломаешь себе шею! сойди! сойди же! — повторял я... и, когда Целия сошла, она упала прямо в мои объятия...

Я умолял Целию скрыть наш проступок от Люси и Томаса, но у беспечного существа не хватило для того ни хитрости, ни охоты, ни просто женской скромности, — и, едва мы возвратились к шалашам, как она — только что дав мне строжайшее обещание молчать о происшедшем — позабыла все мои просьбы и предостережения и, как ребёнок, — прежде, чем я успел зажать ей рот, — закричала во всё горло Томасу, вышедшему к нам навстречу:

— О! о! Томас! Знаешь ли, какую новость скажу я тебе. Муссю Фернанд на мне женился!

Томас, придя в необычайный восторг, хохотал, кривлялся, кувыркался и уверял, будто это мистический танец, которым всенепременно должна быть освящена всякая порядочная негритянская свадьба. Он нарвал огромный, как веник, букет из белого шиповника и, с ужимками, поднёс его Целии, будто новобрачной. С тех пор, — если по близости

не было Люси, он называл Целию не иначе, как «мадам Фернанд», и оба хохотали от радости, как бешеные. Люси делала вид, будто ничего не замечает, и лишь время от времени глубокие синие глаза её обдавали меня мимо-лётным взглядом холодного презрения, жалившим меня в самую глубину сердца... Кроме того, она попросила меня — в первый же раз, что мы остались наедине — выстроить для неё отдельный шалаш, так как — гордо прибавила она, не глядя на меня — по причинам, которых она не желает объяснять, она не находит более согласным с своим достоинством ночевать в одном помещении с «этою негритянкой».

Впоследствии Целия и Люси стали и прожили век добрыми приятельницами, но до того многой воде надо было утечь.

Неделю позже этих происшествий, Люси ранним утром позвала меня в свой шалаш, когда я проходил мимо, из лесу, после охоты, и, с искажёнными злобою лицом, сказала мне голосом, хриплым от стыда и гнева:

— Вот достойные плоды нашего развратного поведения! Полюбуйтесь: негодяй-негр

смеет объясняться в любви вашей сестре и предлагает мне последовать примеру вашего нечестия.

Клянусь, никогда в мире ни один влюблённый не посылал даме своего сердца более увесистого письма, чем этот дурак Томас адресовал бедной Люси. Он воспользовался белым плоским камнем, торчавшим из земли неподалёку от её шалаша, и на поверхности плиты намазал красною глиною — печатными буквами и с страшными ошибками в правописании — следующие чувствительные слова:

— Мамзель Люси, я вас люблю; пожалуйста, выйдите за меня замуж, потому что муссю Фернанд женился на Целии, и вы теперь одни, а я всегда буду вам преданный Томас.

Я был взбешён. Кровь де Куси бросилась мне в голову. Наглость негра пробудила во мне фамильную гордость — до тех пор немую, мёртвую и забвенную в тяжких обстоятельствах, что переживали мы, четверо, со дня кораблекрушения — в непрестанной борьбе за существование, не зная поутру, будем ли мы живы вечером. Я вспомнил свою тысячулет-

нюю родословную, свой гордый герб, царственные дома, считавшие честью родниться с фамилией де Куси. Ружьё было у меня за плечами. Попадись Томас мне под горячую руку, — ему не быть бы живому. К счастью, он в тот день с утра ушёл в бухту на рыбную ловлю, заночевал в море, и мы встретились лишь назавтра и без оружия.

Негр сидел у моря, верхом на плоском жёлтом камне, и чинил сеть из пальмового лыка, которою он так искусно ловил для нас толстых тунцов. Я, в гневных выражениях, высказал ему своё негодование. Он положил сеть в сторону, встал, засмеялся, протянул мне свою огромную, чёрную пятерню и сказал:

— Не будем ссориться из-за баб. Это глупо.

Я с сердцем оттолкнул его руку и закричал:

— Грязный негр! Подлая чёрная скотина! Как только могла взбрести в твою глупую башку такая гнусная блажь?!

Он смотрел на меня круглыми, жёлтыми глазами и повторял:

— О? о? о-о?.. Но мы же друзья, Фернанд,

мы же друзья...

Невежество и добродушие Томаса могли бы обезоружить даже инквизитора. Гнев мой стал утихать; природная весёлость, вступая в обычные права над моим нравом, осветила мне комические стороны неприятной истории, — я вспомнил его глупый камень, — и дело кончилось бы миром и смехом, но проклятого негра угораздило снова взбесить меня глупым замечанием.

— Я вовсе не хотел оскорбить сестры твоей, Фернанд, — сказал он. — Я только хотел жениться на ней, как ты женился на Целии...

— Целия! Целия! — сердито перебил я его, — дурак! Вспомни, что такое Целия: негритянка, которых на рынках Кубы и Нового Орлеана продают сотнями по сто долларов за штуку. А на девицах де Куси женились короли и владетельные герцоги.

Он серьёзно посмотрел мне в глаза и возразил:

— Но здесь нет королей и владетельных герцогов.

Я продолжал кричать:

— Хоть бы то сообразил ты, животное,

что — будь мы в Америке — тебя линчевали бы за одну любовную мысль о белой женщине!

— Но мы не в Америке, — спокойно остановил он меня.

Затем он заговорил холодно, веско и с большим достоинством:

— Ты много кричал на меня, дай теперь сказать и мне. Когда буря загнала нас на этот остров, ты заставил меня присягнуть, что я буду стоять с тобою во всём заодно, окажусь тебе верным другом и помощником. При этом ты произнёс прекрасные слова; они покорили меня тебе на веки. Помни, — говорил ты, — здесь нет ни белых, ни чёрных, ни господ, ни рабов; есть только два сильных и бодрых мужчины, которым приходится — кроме себя самих — кормить и защищать ещё двух слабых женщин. Теперь ты бранишь меня грязным негром и хвастаешься высоким происхождением твоей сестры. Но её родословная осталась за океаном, в стране, куда мы никогда не попадём, потому что — я уверен — нам суждено скончать свой век на нашем острове: Бог бросил нас сюда, чтобы мы заселили этот

маленький рай. Поэтому не говори мне о королях, герцогах и знатных дамах твоей родни: это выходит глупо. Здесь мы четверо, — все без предков и без потомков; мы, все здесь — первые люди, живём равною жизнью и, значит, равны между собою. И прав ты был, Фернанд де Куси: между нами, действительно, нет ни знатных, ни ничтожных, ни господ, ни слуг, ни белых, ни чёрных, — есть лишь два мужчины и две женщины, осуждённые прожить вместе до конца дней своих. Мужчины должны кормить и опекать женщин, а женщины должны принадлежать им, как жёны, и рождать им детей. И, если ты — белый человек, Фернанд де Куси — взял себе негритянку Целию, то я, чёрный человек, имею право требовать и требую себе белую Люси.

На проклятую логику негра мне нечего было ответить, — я мог лишь разразиться новым потоком ругательств. Томас выслушал их, пожимая плечами, и, когда я кончил, возразил с искусственным и злорадным спокойствием:

— Хорошо, я оставлю в покое барышню

Люси. Но, в таком случае, уступи мне Целию. Она негритянка, как я, и у неё нет знаменитых предков; мы — с нею пара. Но, — прибавил он с жестокою улыбкой, — тогда тебе самому останется один выбор: или жить и умереть монахом, или взять женою опять-таки всё ту же барышню Люси... других женщин на острове нету!

— Негодяй! — грозно прервал я его, — не забывай, что ты говоришь о брате и сестре! Христиане мы или нет?

Томас засмеялся и сказал:

— Ага! Но, если ты помнишь родство и намерен уважать его, — то кто же будет мужем барышни Люси? Мне отдать ты не хочешь, а себе взять не можешь.

— Пусть лучше она увянет в бесплодном девстве, — с яростью воскликнул я, — чем достаться тебе!

Мы, белые, когда в гневе, краснеем, бледнеем, — негры сереют. Несмотря на всё наружное спокойствие Томаса, я видел, что чёрная рожа его начинает выцветать, — и в голове его стали прорываться медные, свирепо ревушие звуки.

— Прекрасно, — сказал он. — Это твоё и её дело. Пусть барышня Люси останется старою девою, а ты вечным холостяком. Но я к монашеству не чувствую ни малейшей охоты, — и, раз ты не позволяешь мне даже думать о Люси, я сегодня же уведу в свой шалаш Целию.

— Попробуй! — с угрозою отвечал я.

Тогда он, в негодовании, всплеснул руками и запрыгал на месте, как бык на привязи, обожжённый раскалённым клеймом.

— Видишь, видишь, какая ты дрянь! — кричал он, исступлённо колотя себя в грудь кулаками, — как ты лгал, когда клялся, что между нами не будет ни слуги, ни господина. Ты хочешь преудобно устроиться, чёрт возьми! — не хуже любого белого богача на материке. Твой остров, твои женщины, и есть ещё в распоряжении каналья-негр, который даром работает на тебя, как вол, рубит лес, ловит рыбу, стреляет птицу и зверя, готовит обед и ужин... Так — нет же, убей Бог мою душу! Если небеса спасли меня от рабства, то не для того, чтобы я закабалил себя здесь. Провались ты, Фернанд де Куси, и с гордичкою сестрою своею, и с толстою потаскушкою Целией!

Я ухожу от вас! Перенесу свой шалаш в западную бухту и заживу один, сам себе господином... А вы здесь — хоть с голоду поколейте, мне всё равно! Я согласен умереть на работе, трудясь для жены своей и её брата, но пальцем о палец не ударю, чтобы прокармливать чужих, презирующих меня, белого барина и белую барышню.

— Поступай, как знаешь, — сказал я с приторным спокойствием, хотя сердце моё сжалось от этой угрозы, отнимавшей у нас главную опору нашего существования, обрекавшей нас на новые бездны труда и лишений.

— И, чёрт вас побери, уж коли быть врозь, так — врозь! — продолжал он орать, как расвирепелый горилла. — Даю тебе честное слово, Фернанд де Куси: если кто из вас покажет нос в западную бухту, я влеплю тебе пулю в лоб и изнасилую твоих женщин!

Выкрикнув эти безумные слова, Томас вдруг — склонив по-бычьи свою курчавую башку — стремглав, широкими скачками, помчался от меня к морю и бухнул с разбега в кипучий прибой. Изумлённый неожиданно, я смотрел в недоумении, как он, добрых

пять минут, плавал в серебряной, искристой пене, между скользкими, блестящими камнями, вращая выпученными белками, отдуваясь и фыркая, словно огромный тюлень. Наконец, он возвратился ко мне, весь мокрый, лоснясь от воды, как чёрный атлас.

— Отлично, — промолвил он, отряхаясь, — а то меня непременно хватил бы паралич. Останемся друзьями, Фернанд де Куси! Подумай: ведь нас, людей, только четверо на острове.

— Оставь свои гнусные притязания, — ответил я, — и дружба наша пойдёт по-прежнему.

Он задрожал от нового гнева, но сдержал себя и сказал глухим и тихим голосом:

— Стало быть, мы будем врагами? Хорошо. Будь по-твоему. Враги — так враги. Но вспомни: я вдесятеро сильнее тебя, ловчее и быстрее.

И, схватив с земли огромный, круглый камень, стал играть им, как мячиком, продолжая:

— Вот — я разобью тебе череп этим камнем, зарю тебя на кладбище кораблекруше-

ния и останусь один хозяином острова. Тогда мне достанутся обе женщины — и белая, и чёрная. Ты видишь, что мне выгодно убить тебя. И, будь я, действительно, развратным и грязным негром, как ты меня назвал, я, конечно, отделался бы от тебя ещё зимою. Но этого не было, и не дай Бог, чтобы оно было!

Он швырнул камень оземь с такою силою, что тот до половины ушёл в песок, вызываясь посмотреть мне в лицо, закинул руки за спину и удалился, насвистывая свой любимый Блюхеров марш.

Я вернулся в шалаш в ярости и — в то же время с странным, смутным сознанием где-то, в глубоком уголке души, что, быть может, негр менее неправ по отношению ко мне, чем я думаю и — главное — хочу о нём думать. В самом деле — не он ли спас меня, после кораблекрушения, когда я, бесчувственный, лежал, как труп, на базальтовой плите, медленно убиваемый тяжкими волнами прибоя? Ведь — стоило ему не подать мне помощи, и — он прав: всё было бы здесь — его и повинилось бы ему одному. Теперь — чтобы устранить меня — он должен совершить пре-

ступление, которого совестится и страшится, но тогда не спасти меня даже не было преступлением. Он вылавливал меня из бурунов, считая за труп, и вновь рисковал собственной, только что и едва-едва спасённой из тех же самых бурунов, жизнью. Зачем? Чтобы доставить сестре Люси — девушке ему чужой, неизвестной — хоть одно печальное утешение — похоронить моё тело в земле, а не видеть его расклёванным коршунами и чайками. Всю зиму он работал на нас, не покладая рук, оставляя мне самому едва ли треть того труда, который, по справедливости, должен бы выпасть — вровень с ним — на мою долю. Ни разу не слышали мы от него грубого слова, воркотни, попрека своею работою, не видали неприятного лица или недовольного взгляда. Что он, как говорится, «врезался» в Люси, — мы все знали давно, и, в зимние вечера, это обожание доставляло нам не мало поводов для смеха и шуток, — особенно Целия: усердно остряла над влюблённостью своего чернокожего одноплеменника. И опять-таки он не позволил себе обратить к предмету своей страсти ни слова, ни намёка, — больше того:

стал избегать Люси, когда заметил, что в чистоту его поклонения начал вкрадываться чувственный оттенок. Он решился заговорить о своей любви — лишь после того, как я своею связью с Целией разрушил незримую преграду между белыми и чёрными на острове и — против своей воли — дал понять ему, что призыв природы не сообразуется с условиями ни расы, ни общественного равенства. Да и в том заставлял меня сознаться голос справедливости, что — если сравнить мои отношения к Целии и объяснение, сделанное Томасом Люси — то перевес нежности чувств, деликатности, уважения к достоинству женщины окажется не на моей стороне... Но — стоило мне вообразить себе Люси женою проклятого чёрного облома, и все эти снисходительные рассуждения разлетались прахом, и я бесновался, как полоумный, и мне казалось, что лишь кровь мерзавца может смыть позор, затеянный им для моей фамильной чести. Сестра, когда я передал ей нашу схватку с Томасом, краснела и бледнела, глаза её метали молнии, ноздри раздувались, гордая верхняя губка гневно дрожала над гневным оскалом

стиснутых зубов... Она была прекрасна в эти минуты, я невольно залюбовался ею, — и, как дьявольским молотком, стукнули у меня в мозгу слова, недавно брошенные мне Томасом и за которые я излил на него столько негодующей и нравоучительной брани:

— Если ты уступишь мне Целию, тебе самому придёт или кончить век холостяком, или жениться на той же мамзель Люси... А была она девушка красивая, рослая, стройная; и волосы у неё были, как золото, и глаза — как море.

— Я знаю одно, — мрачно сказала сестра, когда я кончил свой рассказ, — если эта чёрная собака осмелится коснуться меня хоть пальцем, я брошусь в море вон с той скалы...

Я пытался успокоить её, но она прервала меня, вся дрожа, вспыхнув горячим румянцем:

— Ты должен оградить меня от этого страха. Неужели в тебе, потомке рыцарей де Куси, не хватит мужества, чтобы защитить честь своей сестры и отомстить за оскорбление?

— Чего же ты хочешь от меня? — пробормотал я в смущении.

— Как чего? — вскричала она, — как чего? Разве ты де понимаешь, что-либо мне, либо ему нельзя более жить на этом острове...

— Не убить же его!

— Именно убить! — запальчиво возразила она, — пока он не исполнил своих угроз — не умертвил нас, белых, и не властвует здесь вдвоём с негодною Целией, близостью к которой ты себя позоришь. Именно убить — как убивают бешеную собаку, чтобы она не перекусила людей...

Мы говорили ещё с полчаса, и она так взволновала меня, так взвинтила моё и мужское, и фамильное самолюбие, что я расстался с нею, готовый хоть сию минуту послать пулю в сердце негра. Я пошёл в свой шалаш и — пользуясь одиночеством — стал заряжать ружьё. Целия, войдя с вязанкою овощей, которые она собирала в роцах по скатам вулкана, застала меня за этим занятием.

— О, о! — серьёзно сказала она, качая головою, — на твоём месте я не мешалась бы в это дело...

— Какое дело? — сердито отозвался я, — что ты воображаешь?

Она села предо мною на корточки и, охватив руками колени, стала внимательно вглядываться в мои глаза своими круглыми глазами:

— Ты хочешь застрелить негра, — сказала она. — Напрасно. Он хороший человек.

— Ты толстая, чёрная дура! — возразил я, — и не понимаешь, что говоришь.

Целия согласно хлопнула глазами и протянула:

— О, конечно, я тебе не советчица — это твоё мужское дело. Застрели его, если хочешь, — только ты будешь жалеть об этом после.

— Люси грозит, что убьёт себя, если Томас останется жив, — сказал я — вот что она говорит! И посмотрела бы ты на неё, как говорит... Мороз бежит по коже — слышать... Кого мне надо беречь, сестру или дерзкого, наглого негра?

Целия ответила:

— Девушки много кричат, но быстро стихают. А из-за девичьего крика нехорошо убивать друга.

— Ты так крепко заступаешься за Тома-

са, — возразил я с гневною насмешкою, — что советую тебе: поди уж лучше прямо предупреди его, что мы затеваем.

— Нет, — сказала она, уставив на меня взор, полный собачьей преданности, — ты мой муж и господин; если ты прикажешь, я сама перережу ему горло.

Солнце уже было близко к закату. Это был первый вечер, что мы легли спать, не совершив общей вечерней молитвы. Негр скитался Бог весть где. Сестра не показалась из своего шалаша. Я — с убийством в мыслях — не смел просить Бога: «остави намъ долги наши, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ». Целии было всё равно — молиться или нет; суеверная полуязычица, она обвешивала себя раковинами, чурками, камешками, собирая их на счастье, но никак не могла заучить на память даже «Богородицу» — а когда я читал из толстой книги, как называла она Библию, хлопала глазами, зевала и усиленно чесалась, где попало, будто её донимали комары.

Измученный волнениями проклятого дня, я забылся коротким, тяжёлым сном. Меня

разбудил толчок Целии.

— Тсс... — шептала она, — негр вернулся.

Я не слышал ничего, но у Целии был за-  
ячий слух и кошачьи глаза. Она подползла к  
входу шалаша, чуть отслонила завесившую  
его циновку, — и долго лежала на животе,  
прильнув лицом к щели; узкий луч месяца  
дрожал змейкою на её спине. Наконец, она  
поднялась на ноги и сказала равнодушно:

— Негр растянулся пред своим шалашом и  
лежит, как колода. Если хочешь, поди и за-  
стрели его.

Ночь была ясная, тихая. Полная луна сто-  
яла высоко в небе, и в ровном молочном све-  
те её потонули звёзды; лишь Вега — одна —  
продолжала сверкать под самым её диском,  
словно изумрудный к нему привесок. На зем-  
ле, выбеленной лунными лучами в матовое  
серебро, чёрными, резкими пятнами очерти-  
лись тени деревьев, кустов, утёсов, наших ша-  
лашей. И моя тень длиною змеёю скользну-  
ла предо мною по песку, и голова её косну-  
лась — точно поцеловала — головы негра, ле-  
жавшего, тяжёлою, тёмною тушею, в двадца-  
ти шагах от меня.

Он спал крепко. Я окликнул его сперва шёпотом, потом громче, потом в обычный разговорный голос, — он и не шелохнулся. Мне не хотелось убить его спящим... рука не поднималась на лежащего, беззащитного человека, так доверчиво храпящего бок о бок со своими врагами.

— Ступай... ступай... разбудишь, — будет труднее... — шептала мне сзади. из шалаша, Целия. — Ведь у него тоже есть ружьё...

Я подошёл к негру. Прежде всего я отставил в сторону его ружьё, лежавшее подле него, — так что лишь протянуть руку. Теперь он был в моей власти. Я наставил ружьё в упор, прямо в ухо ему, но руки мои так дрожали, что дуло ходило ходуном вокруг головы Томаса, и я не в состоянии был спустить курка. Чтобы собраться с духом, унять биение сердца и странную, всё возрастающую слабость в коленях, я вынужден был опуститься на первый ближний камень... Целия, скользнув из шалаша, как беззвучная тень, очутилась возле меня. Она вообразила, что я лишился чувств, — да, говоря истину, я и впрямь был недалеко от обморока.

— Стреляй же, стреляй! — слышал я её тревожный шёпот, — стреляй или уйдём... но лучше уйдём! оставь его! лучше уйдём!..

Но я не чувствовал в себе силы ни выстрелить, ни тронуться с места. Борясь с удушающим сердцебиением, я тупо глядел пред собою в серебряную ночь и жадно раскрытым ртом ловил её влажный воздух. И, вместе с тем, как оживляла она мои силы, — просветлялось и сознание моё, омрачённое грехом, застланное демонским насланием вражды и мести.

Ночи нашего острова безмолвны и величавы, Часто, часто священная тишина их захватывала меня таинственным, почти суеверным трепетом и раньше того, но никогда не открывались очи мои таким внезапным прозрением в природу, никогда не разверзлся для неё так остро и чутко мой слух, как теперь, когда я, взволнованный, потрясённый, сидел над телом спящего врага и почти касался виска его своим оружием.

Я слышал, как спало спокойное море, одев берег в ласковые жемчуга чуть шелестящего прибоя; я слышал, как спали мирные, бес-

шумные рощи — со всею несчётною жизнью зверей, птиц и насекомых, таящихся в них; я видел, как по скатам вулкана тянулись брильянтовые нити глухо рокочущих, сонных ручьёв — и, следя за ними вверх по течению, поднял глаза к небу и увидел луну, — огромную, светлую, ярко-золотую. Она стояла прямо над кратером вулкана, серебря его дымок, и на блестящем кругу её резко обозначились тёмные впадины, что придают ночному светилу столько сходства с человеческим лицом. Она — точно в упор глядела на меня; точно хмурилась, как суровый судья, точно посылала мне, чрез воздушное пространство, безмолвный, строгий вопрос:

— Что замыслил ты, Фернанд де Куси? Опомнись! Ты ли это, христианин, потомок рыцарей, защитник сирот и слабых?! Тебе ли убивать из-за угла спящего человека, который спас тебе жизнь, который поил и кормил тебя в дни нужды и скорби?

Я вспомнил, что в простонародье нашем живёт поверье, будто тёмные пятна на луне — не иное что, как Каин — первый убийца на земле, — которого Бог осудил вечно жить

на сверкающем месяце и терзаться угрызениями совести, глядя на распростёртый у ног его, вечно нетленный труп — первой убитой жертвы — Авеля. Мне сделалось жутко. Я опустил взор на спящего Томаса, и мне почудилось, что это мы с ним — те люди на луне, тот убийца и тот неповинно убитый. А негр и сопел, и храпел. Должно быть, он размыкивал гнев и страсть свою по лесам и горам острова, пока не измучил себя до последних пределов усталости и не свалился с ног, где попало, не имев сил даже дойти до шалаша, охваченный мёртвым сном. На сонном лице его выражалось тяжкое утомление и, вместе, восторг достигнутого, наконец, отдыха. Он наслаждался сном, объедался им, — спал, как ребёнок: и смешно, и трогательно — с пузырями в уголках рта. И мне вдруг стало бесконечно жаль его, и я всем сердцем полюбил этого человека, которого пришёл убить; вся незаметно накопленная дружба, что выросла между нами в трудовой жизни нашей, — в постоянной взаимопомощи, тысячами обоюдных услуг, сознанием необходимости обоих нас друг для друга, — хлынула со дна души могучим и страст-

ным порывом. Я почувствовал, что мы с ним срослись сердцами, и нельзя разрезать шва, их связующего, без того, чтобы — если перестанет биться одно, не изошло бы вслед затем кровью и другое. И не одного Томаса пожалел я. Жаль стало и этой тихой ночи, с тихим морем, тихими рощами, тихою горою, которую — вот сейчас оглашу я выстрелом предательского убийства, — и долго будет гудеть по ущельям и лесным дбрям его отвратительное эхо, возвещая, что отныне кончился мир на острове, смерть ворвалась в его тишину и наполнила её злобою, мучительством, преступлением; рай умер, завял — и место его занял такой же ад, как всюду на земле, где люди живут обществом. Жаль стало, что на девственную, благоуханную почву острова прольётся человеческая кровь, неведомая ей доселе, и впервые напитает её ядом преступления, вопиющего к небесам о своём отмщении. Не знаю, легко ли убить человека в европейском обществе, где людей столько, что им жить тесно, но там, где весь род человеческий слагается из двух мужчин и двух женщин, смерть хотя бы одного из членов этой

маленькой семьи — всё равно ведь, как если бы на шаре земном вдруг истребилась четверть человечества. Какой-то исторический безумец, говорят, желал, чтобы у человечества была одна голова и чтобы он мог отрубить её одним ударом. Но то был безумец... и лишь безумие власти и тесноты жить — в силах породить подобные сумасшествия. Там, где люди считаются единицами, убыль каждой из них — смертельный ужас для всех остальных. И — пред огромною укоряющею мыслью, что я хочу убавить одну человеческую жизнь из четырёх, теплящихся в нашем крохотном мирке — сразу померкли теперь все старые, напускные мысли, что раззадорили меня в эти дни на убийство. Я понял, что дьявол играет мною. словно шелуха спала с глаз моих. Я понял, что всё мелко и неважно для меня в нашем новом, безвыходном положении забытых миром островитян: и герб де Куси, и белая кожа, и бывшее, ни к чему теперь непригодное, воспитание, и оставленное в Европе общественное состояние; крупно же и важно лишь одно — жить. И жить не одному, но среди людей, данных мне в товарищи

судьбою, — какие бы они ни были: белые или чёрные, умные или глупые, образованные или невежды, высокого или низкого рода. Жить и рождать, а не убивать.

Я поднялся с камня, осторожно прислонил к нему ружьё и, протянув Целии руку, сказал твёрдым голосом:

— Пойдём. Нам нечего здесь больше делать.

При луне, я видел, как радостно засверкали её глаза, и заблестели зубы в широкой улыбке.

— Пойдём, пойдём... — заторопилась она, таща меня за руку, — точно боясь, что я переменяю решение. — Это прекрасно... пойдём, пойдём!

Потом спохватилась:

— А ружьё? Почему ты не берёшь его с собою?

Я ответил просто и откровенно:

— Потому что оно может смутить меня на новый грех. В оружии чёрт сидит. Пусть Томас, когда проснётся, увидит, что он был в моей власти, но я пощадил его, потому что он мой друг.

Целия посмотрела на меня взором немого обожания.

И — когда мы вошли в шалаш — она повисла мне на шею — впервые сама, первая, не как рабыня, ждущая приказа к ласкам, но как женщина, любящая и уважающая того, кто ею владеет — и, осыпая меня восторженными поцелуями, бормотала:

— Как хорошо! О, как хорошо!.. О, как я люблю тебя! Какой ты прекрасный!

И, отвечая на ласки её в эту ночь, я тоже впервые понял, что отныне Целия для меня — не только самка, связанная со мною случайным чувственным порывом, но жена и друг, жена на всю жизнь.

Утром мне предстояло тяжёлое объяснение с сестрою Люси. Когда я проходил к ней, Томас — руки в боки — стоял пред ружьём моим, прислонённым, как я оставил его вчера, к камню. На лице негра написаны были недоумение и ужас...

— Что это значит, Фернанд? — медленно и важно спросил он, обернувшись на шум моих шагов.

Я помолчал, чтобы справиться с охватив-

шим меня волнением, — потом возразил, спокойно и твёрдо глядя негру в глаза:

— А как ты думаешь, Томас?

Он весь затрясся и сказал:

— Ты приходил ночью убить меня?

Я ответил с тою же твёрдостью:

— Да, но Бог не допустил злодейства и удержал мою руку. Прости меня, Томас.

Он молчал, потупив голову; по лицу его ходили тёмные судороги.

Я продолжал:

— А если ты боишься меня теперь, считаешь своим врагом и человеком коварным, то, вот, я стою пред тобою, безоружный, и, если хочешь, убей ты меня. Убей — как грозил вчера на берегу, хотя бы тем же самым камнем... Но я на тебя не подниму руки: только теперь понял я, как мы все здесь близки друг другу. Мы, все четверо, — пальцы на руке, и который палец ни отрежь, — всё равно всей руке больно!

Тогда он вдруг, заливаясь слезами, бросился ко мне и, крепко стиснув обе мои руки, стал их качать и трясти, глядя мне в лицо мокрыми глазами и бессвязно твердя:

— О, муссю Фернанд!.. муссю Фернанд!.. муссю Фернанд!..

Слёзы невольно покатались и из моих глаз, и в них вылилось всё мучительное напряжение и беспокойство, что повисло было над нашим маленьким раем...

Сестра встретила меня, озлобленная, гневная, но далеко не так решительная и настойчивая, как вчера. В глазах её, всё ещё мечущих молнии, я уловил, однако, лёгкую тень смущения, как бы растерянности. Она казалась усталой, нездоровой, — лицо опухло от слёз бессонной ночи, которую, видно, и она провела, не смыкая глаз.

При виде моем, она ободрилась и поспешила занять воинственную позицию.

— Что значит эта трогательная сцена, которую — я видела отсюда — ты разыграл сейчас с негром? — насмешливо начала она, кусая губы.

Я сказал:

— То, что я просил у Томаса извинения за попытку его убить.

Люси страшно побледнела, широко открыла рот...

— Господи! — вырвалось у неё.

— И я надеюсь, Люси, — продолжал я, — что ты не потребуешь от меня повторения этой попытки.

Она молчала из гордости, из природного упрямства, но я, по глазам, угадал, что в глубине души она уже раскаялась в своём безумном требовании — ночь принесла ей хорошие мысли — убийственный вихрь мщения отбушевал в душе её и начинает стихать.

— Ручаюсь тебе, Люси, что ты не услышишь от негра ни одного обидного слова, не увидишь ни одного нежного взгляда. Он дал мне слово выкинуть свои глупости из головы и сдержит слово. У него, может быть, тупая голова и неповоротливый ум, но душа честная, сердце мягкое, характер правдивый, и, что он сказал за себя, то и будет.

— Я не спорю, — пробормотала она, — но, если бы его вовсе удалить с острова, было бы всё-таки вернее.

— Но, Люси, кто же удалит его? и куда? Посадить его в наш челнок и отправить переплывать океан? Ты видишь, что твоё «удалить с острова» не более, как мягкая замена

вчерашнего «убить». И уж, конечно, не мне браться за это дело.

— Почему же нет, Фернанд де Куси? — воскликнула Люси, гордо закинув голову и опять, по-вчерашнему, засверкав глазами. — Вы струсили, раскисли, как старая баба...

— Нет, — возразил я, — я только не хочу стать Каином и убить ближнего своего, своего брата-человека.

Она презрительно пожала плечами:

— Каин! Каин! — сказала она, — всё-то фразы, да громкие слова... Откуда вы набрались их? Ну, каким братом и ближним может быть вам этот чернокожий?

Я серьёзно ответил ей:

— Видишь ли, Люси, — вполне ли ты уверена, что Каин и Авель были белого цвета? Ведь дело-то случилось давно, и в Библии о том ничего не говорится...

Затем, мы оба умолкли. Сестра долго сидела, потупив голову. Потом, когда я уже зашевелился, чтобы уйти от неё, положила мне руку на плечо и тихо сказала:

— Это правда... Ты хорошо поступил, что не пролил крови... Пусть живёт, но — только

бы я чувствовала себя безопасною...

С этого дня жизнь нашего мирка вошла в прежнюю спокойную колею. Томаса мы мало видали; он показывался у шалашей на час, на два, в сроки еды или молитвы, — всегда весёлый, милый, ласковый, — и затем снова исчезал в лес или на океан. Сестре Люси он старался как можно реже попадаться на глаза. С Люси случилась лишь та перемена, что, после рассказанного только что столкновения моего с Томасом, она — вместо прежнего брезгливого отвращения к Целии, которое постоянно старалась проявлять с тех пор, как негритянка сошлась со мною — теперь она начала опять любезно говорить с нею, делить с нею время, и — так как добрую Целию только пальцем к себе помани, а она уже вот она, вся тут! — то в скором времени жена моя вновь души не чаяла в «барышне Люси», и мало-помалу они сделались лучшими друзьями.

Прошла весна, кончилось лето. Целия была беременна, работа по дому давалась ей ещё легко, но далеко ходить, по нуждам нашего хозяйства, ей становилось уже трудно. К удивлению моему, Люси, всегда старавшаяся

переложить свою долю работы на других, всегда жившая среди нас — сравнительно бело-ручкой, — теперь старалась, сколько имела силы и умения, заменить Целию. Она собирала овощи, искала яиц по птичьим гнёздам, делала запасы плодов, ягод, грибов, скитаясь для того по дальним полянам, рощам и косогорам... Словно она хотела вознаградить нас всех нынешним своим усердием за былую лень и барскую надменность. Лес стал её лучшим другом; она с утра уходила в его тень, и лишь сырость вечерних туманов выгоняла её оттуда... и возвращалась она весёлая, смеющаяся, возбуждённая, с яркими огоньками в радостных глазах, с звонким, певучим голо-сом.

Минул год, что мы прожили на острове. Начиналась осень... Она отозвалась на сестре лихорадочным недомоганием: её знобило по ночам, тошнило, ломало в костях. Все мы были очень огорчены её недугом и старались, как бы его избыть. Хинного дерева не было на острове, но ивы — сколько угодно, и она пила ивовый отвар, но лихорадка и тошнота иве не поддавались. Люси была в отчаянии, кото-

рое и мы все делили, — тем более, что девушка изводилась со дня на день и прямо-таки таила на глазах наших.

Был праздник, и мы сошлись все четверо к обеду. Я, — исхудавшая, с утомлённым и больным лицом, Люси, — Целия, с необъятною фигурою, — и Томас, как всегда, со времени своего несчастного объяснения в любви, не смеющий ни на кого глаз поднять...

Мы ели суп, когда Люси вдруг резко бросила свою ложку.

— Я не могу питаться такою гадостью! — брезгливо крикнула она.

Мы посмотрели на неё с изумлением: суп варил сам Томас, великий мастер своего дела, и вышел суп на славу!

— Не могу! — продолжала она, уже со слезами на глазах, — мне от него дурно делается!.. Как можно кормить людей такою дрянью?

— Но... но... мамзель Люси... — бормотал Томас.

— Люси! что за каприз? — прикрикнул я, — суп великолепный!

— Ну, и ешь его, если тебе нравится! — сер-

дито огрызнулась она, — а я его в рот не возьму... я... я... я артишоков хочу!

— Артишоков?!

— Да, диких артишоков, которые Целия доставала в прошлом месяце... Они были так вкусны! Я готова съесть их целую дюжину. Томас! ведь я четвёртый день прошу! Неужели ты не достанешь мне этих артишоков?!

Томас приподнялся с места и, заикаясь, пробормотал:

— Что же, мамзель Люси, но разве я... я... хоть сейчас пойду... положим, сейчас они уже прошли... но... для вас-то? с удовольствием...

А Целия — хлопая себя по бёдрам — залилась диким хохотом и закричала:

— Ну, Фернанд! Теперь не беспокойся: я знаю болезнь Люси! Душечка! да никак вы от меня заразились?! Они женились, Фернанд! Ей-Богу, они женились, как и мы. Но какие хитрые! Как ловко скрывались и как долго водили нас за нос!

\* \* \*

Дальнейшие листки рукописи муссю Фернанда мало интересны. Содержание их напоминает библейское родословие: «У Еноха ро-

дился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха». Календарные отметки о приумножении двух случайных семей, прерываемые по временам коротенькими записями для памяти, вроде:

«Сегодня Томас поймал палтуса столь огромной величины, что таких мы ранее и не видывали».

«У нашей маленькой Люси идут зубки».

«Было лёгкое землетрясение. Слава Богу, все целы и невредимы».

«Пробовали с Томасом порох, приготовленный мною из серы и селитры... Плохо!»

«Крестил близнецов, рождённых вчера сестрою Люси. Назвал Амедеем и Фиаметтою. Дети здоровые, горластые. Сестра чувствует себя прекрасно».

«Вулкан трети сутки в пламени. Лава движется к западной бухте. Несносная жара. Пугавшие нас сотрясения почвы становятся слабее».

«Умер от родимчика пятый сын мой, Самсон, трёх месяцев и семи дней от рождения. Упокой, Господи, в раю невинную его душу!»

«Люси и Целия опять передрались из-за де-

тей».

«Страшная гроза. Молния ударила в хижину Томаса и сожгла её. Божьим чудом, никто не пострадал, но люльку с маленькою Клавдией Томас едва успел выхватить из пожара. Ему опалило волосы и лицо».

Чем позднее по времени отметки эти, тем труднее они читаются. Бисерный почерк, которым начал Фернанд свою рукопись, мало-помалу грубеет, корявеет и — на последних листках — превращается в совершенно неразборчивые каракули. Видно, что водила пером по бумаге рабочая, мозолистая рука, с одеревенелыми пальцами, весь день перед тем работавшая топором в лесу или заступом на огороде. Безупречная орфография первых страниц к концу манускрипта уступает место безграмотному письму по произношению, причём весьма заметно, что Фернанд утратил уже и чистоту природного языка: его французская речь, прежде изысканно красивая, стала походить на жаргон негров в колониях. Европейец перерождился в островитянина, грубел и дичал.

На одном листке, уже из последних, он за-

писал едва понятными, похожими на печатную азбуку, буквами:

«Сегодня, по настоянию жены моей Целии, с согласия сестры моей Люси и зятя Томаса, я благословил на брак старшего сына моего Томаса, 17-ти лет, с двоюродною сестрою его Целией, 15-ти лет, и дочь мою Люси, 13-ти лет, с двоюродным братом её Фернандом, 17-ти лет. Все они — хорошие, добрые дети, да благословит их Отец Небесный! — а Целию и Фернанда мать даже научила грамоте и молитвам. Мы выстроили им хижины и дали по одежде. Начинается второе поколение на острове. Всего же нас здесь сейчас, с грудными детьми, тридцать семь душ, — в том числе 21 мужчина и 16 пола женского. А живём мы на острове, со дня кораблекрушения, 18 лет и 3 месяца».

Меня заинтересовало, — почему муссю Фернанд счёл нужным отметить, как особо важное событие, что новобрачные получили по одежде, — и назавтра, когда, в том же самом портовом кабачке я вновь встретил жирного Фрица, я предложил ему этот вопрос.

— Видите ли, — отвечал матрос, по обык-

новению окружая себя облаками табачного дыма, — видите ли: когда мне случилось быть на острове муссю Фернанда, он был уже здорово населён... красивый, рослый народ, — даром, что темнокожие... Но одетых между ними я не насчитал и трёх десятков, — и это были всё старики и старухи, сыновья и дочери первых поселенцев. Люди молодые и дети, стало быть, внучата и правнучата, — что мужской пол, что женский, — ходили, в чём мать родила. Навертит на бёдра лыка, — в том и весь туалет... Дерево такое растёт у них на острове: чудная штука! — рассказывал я простым людям, так не верят. На нём готовые сорочки растут. Смеётесь?.. Право, не вру. Что-то вроде дуба. Весною сдирают с него кору до роста человеческого, и под корою обнажаются тёмные волокна, цветом как табак, густые-прегустые, плотная склейка, руками и не разорвать. Волокна снимают ножом, — выходит длинная, мягкая трубка. Прорезал в ней дырки для рук, — вот тебе и рубаха. Мы, шутки ради, пробовали носить: ничего, жестковато малость, но, кто привык, удобно, и дождь не пробирает. Такие древесные сорочки мы

видели почти на всех островитянах...

Я так полагаю, что старую одежду, которую муссю Фернанд и негр его сняли с покойников после кораблекрушения, они износили, а новой было сделать не из чего, не сумели...

— Однако, вы говорите: около трёх десятков. На «Измаиле» погибло людей меньше.

— Да ведь мы не первые были в гостях у муссю Фернанда. К ним заходили суда и раньше. Могли оставить им кое-какое хоботье... даже, наверное, оставили! Мы, например, много им надарили: ножей, топоров, два ружья, патронов, — много чего! А штурман наш — парень молодой! — в туземку врезался, — так, я вам скажу, обчистила она его так гладко, что никакой европейской потаскушке ловче не обработать. Уехал с острова — гол, как сокол: ну, просто, ни ложки, ни плоски. Правда, и заплатить было не жаль: хороша, bestия! Внучка муссю Фернанда, — Анаисой звали, племянницы его дочь. Только дарил штурман много, последнюю рубашку, можно сказать, снял с себя, а ни с чем отъехал. У них на этот счёт строго. Соблюдают. Оставайся, говорят, у нас на острове, поселись, женись, —

тогда твоя будет девка! А не то проваливай! Ну, на этакую тюрьму штурман, как ни одурел, не отважился... Ведь, что ни толкуй, а, хоть они и французами себя почитают, и христианскому Богу молятся, а всё же дикари.

— Неужели и деньги брала эта Анаиса у вашего штурмана?

— А то как же? В лучшем виде.

— Да зачем ей — на острове-то?

— Наряжаться, надо полагать. Ожерелья там, монисты... Золото и серебро — штука красивая.

— Вы говорите, что не первые попали на остров... Кто же его открыл?

— А, право, не могу вам сказать. Нас туда тоже бурей затащило. Сын муссю Фернанда, Томас меньшей, говорил мне, что наш бриг — четвёртый, который он видит на своём веку. А он уже совсем седой старик... лет за пятьдесят будет, пожалуй. А от первого корабля они убежали.

— Как убежали?

— Так. Очень испугались! От людей, надо полагать, отвыкли. Томас меньшей рассказывал мне эту историю. Ему в то время лет два-

дцать было, — уже женился и жил своим домом. Пришёл, говорит, пароход, стал в бухте, дымит. Мы на берегу — ни живы, ни мёртвы: во век не видывали такого страшилища. А папа Фернанд — не разобрать, что с ним стало. Не то он рад, не то пуще всех нас испугался. Дядя Томас вышел из хижины, сердитый такой, посмотрел на пароход: француз, говорит. Папа Фернанд так весь и затрясся и стал белый, как мел... А тётя Люси, — она тогда близнят кормила, Фанни и Жоржа, — уронила их на колени, закрыла лицо руками, и сквозь пальцев слёзы градом текут. Не хочу, говорит, если французы, им показываться! Между ними могут быть, которые нас знали, когда мы людьми были, а не дикарями. Если меня признают, я со стыда сгорю... Подобрала своих близнецов, — и драла в лес. Так и просидела там в пещере всё время, что пароход гостил у нас. Целые две недели. Мы с кузеном Фернандом тайком носили ей пищу. Дядя Томас её не удерживал, напротив, тоже гнал прятаться, — он другого боялся. Он сам в молодости служил на корабле и знал, что наш брат моряк, после долгого плавания, как до-

рвётся до берега, так ему — чёрт не брат! особенно, в такой пустыне, куда судно заходит раз в десять лет... Мы, сказывает, сами этак-то раз на Яве деревушку в разор разорили; ни одной бабе спуска не дали. А тётя Люси всё ещё красавица была, и любил её дядя Томас, — прямо без памяти... Однако, французы оказались хорошими людьми и расстались с островитянами без обид, по-хорошему. Вот потом заходил к ним английский китобой, — ну, с тем до ножей дошло... и девку у них уволок с собою в море, животное скверное, — а на другой день течением прибило её к берегу мёртвую, с перерезанным горлом... Лет за двадцать до нашего прихода случилось. Так настращал людей, анафема, что с тех пор стали они бояться пароходной трубы пуще дьявола. От нас тоже было попрятались. Вулкан этот у них — словно медовый сот: весь в пещерах, галереях, норы, лазейки, входы, выходы. Такую, скажу вам, инженер-механику и архитектуру устроил подземный огонь, что, подумаешь, десятки тысяч людей работали.

Так вот они — туда. Выходим на берег, — никого. Целая деревня шалашей в лесу, а лю-

дей — точно мор съел. Даже жутко стало. Лишь к вечеру поймали какого-то черномазого и столковались с ним; скажи, мол, своим, что мы друзьями пришли, никого обижать не намерены, а у вас же гостеприимства просим. Только тогда выползли из своих нор, да и то сперва одни мужчины, притом вооружённые по самую макушку. Ружья, пики, вилы, топоры... Прожили денька два с нами, — поверили, что мы не пираты, вернулись по домам все из горы. С месяц мы там прожили. Свыклись, — страсть! Народ сердечный, глупый. Плакали, как мы уезжали. Мадам Люси — это сестра Фернандова, она у них вроде как бы за жрицу или игуменью какую числится — всех нас благословила на дорогу. Величественная старуха. Должно быть, и впрямь куда хороша была смолоду.

— И мужа её, негра Томаса, вы знали?

— Нет, он умер лет за двадцать запять до нашей стоянки. Ещё до китобоя. И — чудное дело! Все островитяне, конечно, христиане, католики, а Томаса этого всё-таки почитают не то за святого, не то, пожалуй, даже за бога какого-то. Жертвы на могиле его приносят,

подарки на неё вешают, молятся на неё, кланяются... вся уставлена горшками с салом, с вином пальмовым. И от нас требовали.

— Как? заставляли вас поклоняться могиле негра?

— Поклоняться не заставляли, а только серьёзничали, словно турки у Магометова гроба, — ни шутки не позволяли, ни легкомысленного вопроса о покойнике. А, если кто-нибудь из нас, им в угод, окажет, бывало, почтение могиле Томаса, — ну, цветок что ли бросит, ленточку, бумажку цветную, или высыпет щепотку пороха, — тот им первый друг. Уж и не знают, как его почётнее принять и лучше угостить. Что же? Мы снисходили к ним. Отчего не угодить хорошим людям? Язык не отвалится помянуть покойника добрым словом. К тому же и не грешно: хоть и негр был, а всё-таки христианин. Молитвенник после него остался. Тоже берегут, как святыню. Опять же, между нашей братией, моряками, разборчивых на счёт религии немного. Безбожников нет, потому что и пословица ведётся: кто на море не бывал, тот Богу не маливался. Но — который католик, который протестант,

стант, который грек, — об этом мы мало заботимся. Моряк — он всех вер понемножку, ни одною не должен пренебрегать, потому что — как знать, какая и когда ему поможет?

Он засмеялся.

— Однако, заразная, я вам скажу, штука суеверие! Ну, — что мы прожили на острове? Три-четыре недели! А, между тем, потом — сколько времени! — в карты ли не везёт, ветер ли крепчает, глядь, и поймаешь себя на том, что бормочешь островное присловье: «Дед Томас, заступись за нас!»...

— Не знаете, отчего он умер?

— Лес рубил, деревом пришибло. Мадам Люси вдовела года два, а там другого мужа взяла — Антоном звать, сын муссю Фернанда, племянник ей, стало быть, выходит. Хороший человек, смышлёный... и богатырище же, доложу вам! Рост, плечи, кулак... ужасу подобно! Самый красивый мужчина на острове...

— Но ведь между ними огромная разница лет?

— Да, мадам Люси, когда они поженились, было уже за сорок, а ему — что-то семнадцать, восемнадцать... Да ведь это разбирают,

где невест много, а на острове — не до прихотей: всякая женщина идёт в счёт. К тому же, — сказывают, — мадам Люси была просто неувядаемая какая-то. Она до сих пор моложава, если хотите. Когда она сказала мне, что ей под семьдесят лет, — я верить не хотел: больше пятидесяти дать невозможно. Лицо румяное, кудри седые, густые, прегустые, глаза ясные, пронзительные, стан — как стрела. Прекрасно сохранилась. Вот Фернандова жена — Целия, негритянка — та совсем развалина... Уже и понимать ничего не понимает, что ей люди говорят, а только мычит, да хлопает глазами, а глаза совсем мёртвые — словно у вяленной рыбы.

— Что же — эти старики? Вспоминают родину? Не тянет их порой назад, за море, посмотреть, что случилось с Европою, с Францией?..

— А Бог их знает! Мы, бывало, дразним муссю Фернанда: поедем, мол, с нами, старик! Людей посмотришь и себя покажешь. Смеётся, головою мотает, руками машет: куда уж мне! Свыкся очень, одичал. А мадам Люси, — штурман этот, который чуть не женился на

Анаисе, книжку ей подарил, историю девятнадцатого века, — так она повертела книжку в руках и назад отдала.

— Что же вы так? — спрашивает штурман, — неужели вам не интересно, что делалось на свете с тех пор, как вас от него отрезало?

— Видите ли, — говорит, — молодой человек, интересно-то очень, да боюсь я.

— Чего же, мадам Люси?

— Беспокойства боюсь. Вы думаете, легко досталось мне, что от света-то нас отрезало, легко было примириться с долею дикарскою? Целыми годами душа во мне горела, а на первых порах, покуда семьи вокруг не было, я частенько и головою о камни билась. Так-то! Ну, что хорошего, коли книжка ваша опять меня всколыхнёт на старое? Да растоскуюсь я, раззавидуюсь, разжалеюсь, что вся моя жизнь пошла прахом? Пожалуй, ведь, не стерплю, — опять головой о камни стучать стану, а старухе-то оно уж и неприлично. Ведь я и бабушка, и прабабушка, — с меня целое племя должно пример брать. Застыла, одичала, — и слава Богу: сплю. Так уж лучше — и не будите. Дай-

те умереть спокойно. Накануне гроба привести себя в отчаяние — поздно и страшно...